



Рашида СТИКЕЕВА

КЛЮЧ

Окончание. Начало в № 10, 2024.

Часть II

Через несколько лет получили, наконец, заветную собственную квартиру в Новосибирске, на улице Новая Заря, в новеньком высотном доме: в девятом по счету подъезде, на девятом этаже. И за год, кое-как устроив быт, они долго не верили, что всё это их... свое, родное... навсегда. Он тогда сильно радовался угрюмому Новосибирску, но

вой огромной пустой квартире на этой самой улице Новая Заря, что развлекало повзрослевшую дочь:

– А что, есть и Старая Заря? А не очень старая?

Маша молча улыбалась, муж суетился, широко ходил по квартире и не мог охватить все эти квадратные метры, кружил девчонок и бегал за водой на седьмой этаж...

Девочки целых три дня мыли-убирали, еще не поняв до конца, что это их собственный дом, тихо пели смешные старые песни и про «Черного кота», и «Про зайцев». Леночка была хорошей помощницей: ловкая в мать, скорая в бабу, непонятно, правда, в какую больше. Время от времени она бросала тряпки, подбегала к подоконнику и, от избытка чувств вывалившись до половины туловища, весело махала рукой, приветствуя кого-то из соседнего дома, не забывая о том, видят ли они её с девятого, самого верхнего, этажа, и вновь возвращалась к ведру и тряпкам.

– Мама, а где будет стоять наша машина? – спрашивала она в очередной раз, опасно перегибаясь через оконную раму.

– Бог с тобой, Леночка, какая машина?

Приезжал на лифте Гриша с авоськами из гастронома. Целовал каждую в отдельности, и семейство садилось за вечернюю трапезу. Маша откидывала гремящую створку духовки советской двухрожковой газовой плиты, расправляла свежепрочитанную газету «На страже Отечества» и вместе с Леночкой накрывала «на стол» из вновь принесенных продуктов. Кроме куцых чемоданов и такой же более чем скромной этажерки для книг имущества у новоселов больше не наблюдалось. Спустя пять лет эта старая рухлядь была с позором изгнана хозяином из дома на мусорную свалку, но ненадолго. Оттуда была извлечена виноватой хозяйкой, отреставрирована, перекрашена и вновь водружена в угол хозяйской спальни под неодобрительное ворчание хозяина – как память. Своего имущества не было просто потому, что жили все годы за так называемый казенный счет, как и положено военнослужащим Советской Армии. Поэтому создавать уют и комфорт пришлось, напрягаясь не один год.

В первые годы суетливой жизни в Новосибирске Маша часто вспоминала своих подруг в часы ожидания мужа со службы и дочери – юной невесты – со свиданий и прогулок с часто меняющимися кавалерами. Выглядывая вниз в темноту, в звездный от фонарей город, она вспоминала веселую Надежду. Мысленно еще раз благодарила её. Желая ей всяческих благ за её заботу и поддержку во время Машиной учебы в медучилище. Хотя... не хотелось ей думать

об этом, да и зла не держала, но порой всё же понимала, как могла повернуться Надеждина доброта и внимание, не будь Тамара столь бдительна не только к своей образцовой семье, но и к её, Машиной. То представляла строгую Тамару, которая к тому времени, как выяснилось из писем, занимала высокий медицинский пост в Военном управлении. Письма были редкие, наспех набросанные: список выполненных дел или планируемых, коротко о своих домочадцах: дочь взрослой себя считает – замуж собирается, у Тамары свое видение относительно взрослой жизни собственной дочери, и на два тетрадных листа её, материны, планы по поводу будущего любимой дочери. Муж безобразничает, всё норовит сбежать то к одной, то к другой молоденькой особе. Одним словом, хлопот с семейством хватает: все желают жить как хотят, не считаясь с её мнением. Но ситуацию она держит под контролем, никому спуска не дает. Будь спокойна за меня, дорогая подруга Маша! На службе всё в порядке и всё в согласии с рабочим графиком, вот где порядок и полная ясность, несмотря на перестройку.

Разглядывая то близкие звезды, то дальние фонари снежных дорожек двора, Маша звала дочь молчаливым монологом, прося не задерживаться и быстрее топтать домой по этим самым плохо освещенным дорожкам в плохо освещенный родной подъезд. Милый же муж Гриша её очень веселил: завел очередной, на сей раз довольно смелый роман с очередной молодой козой и, пользуясь служебной машиной, повадился ездить на дачу даже вне дачного сезона, надо полагать, выгуливать эту самую козочку. Дачей назывался крохотный домик, наспех сколоченный из строительного мусора, возле самого Толмачево. Достаточно было выбраться из маленького дачного поселка, и вот тебе: «Добро пожаловать в Новосибирск». Здание аэропорта было новеньким, после ремонта, свежеекрашенным, блестящим со всех сторон, как новая копейка. Весь дачный поселок радовался такому соседству: бегали через дорогу и через край летного поля в чистый аэропортовский клозет по нужде.

Мария не любила ездить на огород, в отличие от мужа, которого, по его словам, земля звала. Он с удовольствием копался на картофельных грядках: высаживал, поливал, окучивал, полол. С умиленным лицом, а то и просто что-то мурлыча себе под нос, подрезал и подвязывал чахлые северные яблоньки. Собирал мелкую малину и редкий крыжовник. На каждый пронзительный звук поднимающегося самолета, доносящегося со стороны аэродрома, разгибал спину, поднимал голову, замирал и слушал, как песню... Неказистый домик, в отличие крепких соседских дачных строений, сильно смущал и стеснял Машу. Еще больше стеснялась соседа генерала. У того была не дача, а усадьба. Порядок на приусадебном участке был полный: грядки «маршировали» ровными рядами, подстриженные кусты и подбеленные деревья стояли навтыжку. Ни одного кривого неухоженного кустика или деревца. Всё и вся, казалось, делалось под козырек даже «дачному», но всё же генералу. С Машей сосед был очень любезен, чем еще больше смущал милую женщину, из-за всего этого она старалась реже приезжать. Что касается Григория Михайловича, чего греха таить, не был он рукастым хозяином и умелым землевладельцем.

Законные на всеобщих правах шесть соток её не звали, она любила свой дом: отдельную большую четырехкомнатную квартиру, хоть и под самой крышей. Да и Григорий Михайлович был непреклонен в своих привычках и принципах: убогую хижину и огород, засаженный в основном картошкой, упорно называл дачей, и ключ от этой дачки был, как водится, один, и держал он его только у себя, как всегда, оберегая от чего-то.

Она писала длинные откровенные письма матери, порой забывая, что надо бы и поберечь старушку от подробностей. Та всегда оттягивала с ответом, ссы-

лаясь на занятость и недомогание, да Маша и не ждала скорых писем. Письма писались долго, затем так же долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на месяц, два, а то и три. Но всё неважно, главное – рассказать, исповедаться верному родному человеку. Про себя: больше покаяться. Про мужа: его страстную дачную любовь в дачный сезон и одержимую службу отечеству в осенне-зимний период. Про гормональные битвы в виде редких прыщей на лице ненаглядной дочери, каждая из которых старательно оплакивалась хозяйкой милого личика. Про новое письмо от Тамары, которая, похуже, отвоевав мужа у очередной красотки, принялась, засучив рукава, отвоевывать повзрослевшую дочь от не менее боевого будущего зятя. Письма её напоминали хроники малых и крупных боевых сражений.

Первое письмо из Новосибирска было написано в тот же год после переезда и было самым длинным, с подробными откровениями, из всех написанных Марией впоследствии.

«Ты себе не представляешь, мама, я живу между небом и землей и ближе к небу! – писала Маша своим крупным круглым подчеркиком. – Как я счастлива! Свой дом, хоть и далеко от земли. Но всё-всё свое! Ремонт и обустройство было страшно тяжелым делом: кругом дефицит. Но помогла Тамара со своими всеобщими связями. Гриша, конечно, немного, ну и сама так, по мелочи... как смогла. Представляешь, Григорий по привычке на каждой обновке в доме искал инвентарный номер. Перевернет очередной стул, стол или под диван залезет, даже торшер еще в упаковке и тот с ног на голову поставил и рассматривал. Потом, конечно, смеялся. Говорил: рефлекс! С работой пришлось повременить. Вначале Леночку в школу устроили. Девушка-то она у меня строптивая, хоть и большая умница. Дочь поменяла две школы, прежде чем успокоилась. Зато всё нравится, хотя ездит на троллейбусе, две остановки от дома. Ей ведь уже пятнадцатый год идет. Мальчишки хороводы водят, над подружками командует, но мне она добрый помощник и ласковая дочь. Много читает, но совсем не пишет и не рукодельничает. Тарелку за собой не помоеет, борща себе на обед не разогреет, если я дома. Но если меня нет, то к моему возвращению полный порядок. Любит кино, плачет, если грустное, танцы и всякую заграничную одежду. Всё больше куцую, тесную и непростую. Однажды Гриша принес ей платье, очень красивое. Всё в блестках, переливается, аж в глазах рябило. Настоящий вечерний туалет. Ты бы видела, мамочка! Как ей шел этот заграничный наряд, как она крутилась перед зеркалом. Чтобы увидеть себя со спины, она стала боком и изогнулась вокруг себя так ловко и так грациозно, что мы с отцом переглянулись: как мы смогли со своими скромными данными запустить в жизнь такую красоту?! Я тогда поняла, Григорию нравится её украшать и ею любоваться. Он ей во всем этом потакает. Но только в этом. В остальном же он с ней строг. Про себя поняла – я принадлежу семье. Им обоим. И весь мой талант – любовь и понимание к близким и родным мне людям. Потом уже подружки. Их, кстати, совсем нет, знакомые в основном Гришины. Нет-нет, я не жалею, а выражаюсь в этом или, лучше сказать, самовыражаюсь. Даже внешне мало изменилась. Гриша, шутя, называет меня «играющая табуретка», а я бы добавила «долгоиграющая». Он говорит, что лицо у меня до сих пор остается миловидным с сохранившимся наивным выражением. Грех жаловаться, муж меня любит, правда, совсем не умеет выражать это, и я, конечно, уважаю его. А то, что его тянет погулять или странности с этим его «соответствием», так понять можно: тяжелое детство, бедная юность. Кстати сказать, свекровь свою и всю Гришину родню знаю только по письмам и фотографиям. И судя по описанию и со слов, с годами он становится всё больше похож на своего отца. Пугает другое – то, что с годами Григорий становится всё более

одержимый. Сейчас он в почете, при чине и почестях, а завтра? Ну да ладно, что там загадывать, главное, семья у нас... Выхожу сегодня утром на кухню и вижу такую картину: отец с дочерью утренний кофе пьют. Она сидит, закинув ногу на ногу, красивая, и это с самого утра! Ноги длинные, волосы длинные, шея длинная, кожа нежная. Зачем какие-то... (здесь было густо зачеркнуто), когда такая красота в собственном доме? Нет, ты ничего не подумай! Всё у нас хорошо! Всё замечательно! Только по тебе скучаю... по нашей больничке... по родным местам. Твоя дочь Маша».

О чем думала старая Ираида, получая эти письма, никому не известно. Забрав письмо в приемном покое из общей больничной корреспонденции, она не торопилась рвать конверт. Прятала серый прямоугольник с изображением очередного партийного деятеля на почтовой марке в карман, и, закончив день, неторопливо, переделав свои нехитрые домашние дела, сняв платок, умывшись, ставила электрическую настольную лампу на широкий подоконник. Наступал торжественный час: нацепив на старушечий нос такие же старушечьи очки в тяжелой роговой оправе, приступала к подробному чтению письма. Голоногая и уже повзрослевшая сестра Зоя, выходя по разным надобностям в больничный двор, вскидывая глаза на освещенное окно, шептала:

– Вот ведь ведьма! Опять колдует Африканна!

Длинная вечерняя тень от окна ложилась на землю, разливая таинственность и настороженность:

– Опять свои молитвы читает!

Не торопясь, делая паузы, то снимая, то вновь надевая очки, то глядя в окно, то разглядывая край своего домашнего платья, читала старая Ираида, читала и вспоминала...

Теми, кого считала Ираида своей семьей, были троюродная сестра матери – попадья Варвара и её благоверный муж – батюшка Владимир. Привезла несчастную племянницу одышливая Варвара в Подмоскovie аккуратно перед самой войной. В небольшую церквушку, где служил батюшка Владимир своей пастве и Господу верой и правдой.

– Молись, Ираида, молись за родителей своих... несчастных, невинно убиенных, молись! Пусть души их возрадуются, и земля им будет пухом. Молись, Ираида, молись!

И племянница молилась. Стоя на коленях на щелястом полу, просила Господа рай небесный для матушки с батюшкой, забыться в молитвах и песнопениях богоугодных. И молитвы помогали. Только приходиться девчушка стала в себя, как грянула война, а в мае сорок первого, ровно за месяц перед страшными событиями, ночью по-хозяйски постучали в дверь. Батюшка, давно готовый к таким событиям, отворил дверь, кивнув, впустил гостей, молча выслушал пришедших и, поклонившись попадье и сироте, перекрестив обеих, канул в неизвестность. Так они его и запомнили в черной рясе, перевязанной тонким плетеным поясом, с котомкой в руках... только и успел Варварушке в похолодевшие руки свой крест серебряный сунуть.

Варвара выплакала все свои смиренные слезы за ночь. На рассвете, откопав из погреба золотое родительское наследство племянницы – тяжелый с густо-красным рубином перстень, такой же тяжелый широкий браслет с мелкими изумрудами и пару сережек с бриллиантами, – уложила всё это с малыши пожитками в мешок. Тщательно спрятав мужнин крест у себя на пышной груди, привязав за тонкую руку толстой веревкой крепким узлом мелкую Ираиду к своему поясу, чтобы не потерялась в дороге, закинув мешок за спину, двинулась в Москву. И вовремя! Через двадцать дней въезд в город был закрыт:

только по спецпропускам. Всеми правдами и неправдами, в основном благодаря наследному браслету, Варвара выправила себе и племяннице новые документы, сохранив данное при крещении имя. Через короткое время обменяла массивное кольцо из приданого, перед расставанием со вздохом перекрестив темный камень, на столичную прописку. Помимо золота в ход пошли давние связи среди прихожан, знавших отца Владимира. Так с божьей помощью и презренного металла началась новая жизнь. Жили в дворницкой. Что-то между подвалом и сараем-пристройкой. Устроилась тетка в госпиталь – нянкой круглосуточной. В короткие часы отдыха, закрыв плотно все двери и окна, истово молилась: за раба божьего Владимира и сестру свою... Ираида сначала ходила в школу-семилетку, но с отступлением Красной Армии по всем фронтам и общим тяжелым положением бросила учебу, тоже пошла работать в госпиталь. Они редко виделись, еще реже говорили. В коротких записках: как отоварить карточки, где взять керосин, дрова, картошку, были мелкие приписки: молись Ираида, за победу! И Ираида молилась!

Последние из наследства сережки уплыли на рынке в послевоенные годы за добротную одежду и обувь для подросшей Ираиды. Накануне вечером Варвара долго молилась, перед самым сном обняв племянницу, плакала – каялась, что не сумела последнее родительское добро сохранить для племянницы.

Григорий Михайлович сдержал слово, устроил жену на работу в военный госпиталь. За что Маша была ему сильно благодарна. Госпиталь находился в другом конце города, в старом здании дореволюционной постройки. Высокие потолки с лепниной, скрипучие полы, просторные окна, широкие деревянные лестницы. Работалось ей легко и просто. Со всеми ладила, но близко ни с кем не сходилась. Молодых медсестер было мало, зарплата маленькая, а работы много: Чечня, Дагестан поставляли бесперебойно раненых, покалеченных, полуживых... Домой всегда торопилась. Старалась не задерживаться. Верный ключ лежал себе под половичком или у надежной соседки. Приходя домой, теперь чаще всего сталкивалась с сидящим на ступеньках очередным ухажером или смущенным поклонником дочери. Крайне редко кого-то приглашала в дом – чайку попить, Григорий не позволял таких вольностей, а с кем-то и здороваться не приходилось: слышались торопливо убегающие шаги. С Леночкой редко обсуждали её мужское окружение. Мария Ивановна считала, что не время, а когда будет время, она сама не знала. Проработав немного в военном госпитале, она стала брать подработки и с удовольствием делала капельницы и уколы на дому. Приходила к больным домой. Так познакомилась она с Робертом Юльевичем. Старая врач Моргунова из соседнего терапевтического отделения попросила поделаться капельницы своему знакомому, вернее, его престарелой матери. Старушка лежала уже много лет. Жизнь в ней еле теплилась, но сын хорошо ухаживал, и она радовалась каждому дню... Марию она приняла приветливо. Чувствовалось, что злыдня Моргунова дала самые что ни на есть хорошие рекомендации, чему Маша была удивлена. Во время процедуры старушка тихо щебетала, рассказывая, какой у нее замечательный Роберт, а та по своей привычке молча улыбалась и ловко делала свое дело.

Роберт Юльевич родом из волжских немцев. Был он вдовцом. В счастливом браке прожилось недолго – лет пятнадцать. Жена, не родив ему детей, умерла от скоротечной странной болезни. На руках осталась старая мать и любимое ремесло. Брат Яков к тому времени перебрался в Ленинград и писал частые письма – скучал. Роберт от природы был очень талантлив. Абсолютный музыкальный слух сослужил ему хорошую службу: работа настройщиком в музыкальном училище, консерватории, музыкальной школе... словом, везде, где есть музыкальный ин-

струмент, где требуется посещение специалиста данной профессии. Это и сделало его ценным мастером. Настраивать пианино, рояль на стандартную высоту тона, выявлять и устранять дефекты клавиатуры, игрового и педального механизма, регулировать звучание гитары или старой подружки мандолины... и всё, что касается того или иного музыкального инструмента. Ремесло свое он очень любил, ценил и уважал. Ходил на работу в разные музыкальные учреждения и частные дома как на свидание: костюм, галстук, чистый носовой платок, с неизменным камертоном в кармане. Работа его подразумевала под собой как физические усилия, так и большую интеллектуальную и слуховую нагрузку. К слову сказать, Роберт Юльевич мог играть на многих инструментах. Приходил, снимал пиджак, вешал на рядом стоящий стул, закатывал рукава и превращался в один большой слух, попросив предварительно соблюдать тишину, в противном случае выставлял всех вон... Как правило, результатом его посещения являлось приведение музыкального инструмента в оптимальное состояние, то есть идеальное звучание инструмента и всей механики. Звуки музыки и профессиональное развитие были высшим блаженством для него. После окончания работы не отказывал себе в удовольствии немного пробежаться по клавишам оздоровившегося инструмента, тем самым проверяя его звучание. Дома с разрешения матушки включал магнитофон с кассетами: Бетховен, Моцарт, Шопен. Но недолго и нечасто: матушка уставала от страстной музыки, да и соседи через тонкую стенку беспокоились.

Откуда взялась эта тяга и столь редкое ремесло – настройщик музыкальных инструментов, он не знал. После окончания музыкального училища по классу игры на аккордеоне как-то всё само собой и сложилось. На другие профессии, работы, занятия не тянуло. Хотя руки у него были, как говорится, «золотые». Весь дом тянулся к нему с дверными замками, часами, шкатулками, электроприборами, кранами, словом, со всем, что не мог предложить советский ЖЭК в трезвом, а следовательно, качественном виде. Соседи его любили. После смерти жены долго подкармливали. А через год потянулись с невестами. Матушка его тогда еще была на ногах. Веселая и приветливая старушка всех принимала и всех выслушивала, но на сына не влияла. Между собой они мало говорили. Всё больше проводили время в приятном молчании. Иной раз по воскресеньям за утренним чаем тихо вели беседы на немецком языке, как будто состояли в заговоре. В заговоре против этой убогой жизни. По будням с утра он прибирал больную мать: убирал постель, мыл, перекладывал, причесывал, высаживал на горшок. Затем готовил завтрак на двоих. Кормились и чаевничали молча. Переделав мелкие хозяйственные дела, одевался и, наконец, попрощавшись с родительницей, уезжал на своих «Жигулях» в сумерки северного утра на долгий день... К Маше он относился... никак. Открывал дверь, приветливо встречал, вежливо помогал раздеться, подавал тапки, провожал в комнату. Также и обратно: улыбался, помогал одеться, страшно смущался, когда рассчитывался, кивал на прощание. Маша его толком и не разглядела. Всё быстро, на ходу, на бегу. Старушка была чудесная. Чистенькая и всегда приветливая, она встречала Марию, лежа в развале своих белоснежных высоких подушек, сложив руки вдоль худенького тела, тихо радуясь предстоящему недолгому общению.

Маша всегда торопилась, стараясь к приходу Григория успеть быть дома. Однажды всё-таки не успела. В отделении умер молоденький солдат первого года. Его выхаживали всеми силами. Накануне приехала родная тетка солдатика из дальнего поселка, посидела, повздыхала и вышла... совсем. Через сутки он умер, ни разу не открыв глаз и рта. Смерть в таком заведении была не редкостью. Умирили от ран, от потери крови, бывало, из-за врачебной ошибки, но вот

от нежелания жить – первый раз. Она шла домой, не торопясь, переживая и выплакивая весь напряженный день. У дверей только вспомнила, что уже довольно поздно, но, не придав этому значения, рассеянно нажала кнопку звонка. Григорий дверь не открыл. Мария звонила, стучала и снова звонила. На настойчивый стук за дверью раздался голос изрядно выпившего мужа:

– Не открою! Не стучи! – икая, прокричал муж. – Иди, откуда пришла! Иди, иди... с-сука хвостатая!

– Гриша, открой, пожалуйста, соседи ведь слышат...

– Не открою, иди отсюда...

Маша заплакала:

– Григорий, ну что такое ты говоришь?

– ...Ничего не знаю и знать не хочу... А ты помалкивай!

«Это он дочери», – догадалась она. Маша стучала еще какое-то время. Негромко упрасивала, уговаривала мужа впустить её, а потом опустилась на ступеньку и горько вздохнула. За окном середина декабря. Конец года. Конец сил. Тьма и холод. В жизни получилась какая-то заминка: всё остановилось на плохом месте. Полнейшая сумрачность и никакого просвета. Полумрак лестничной клетки убаюкивал, пахло сыростью, возле лестницы, ведущей на чердак, метался и посвистывал сквозняк, где-то на крыше мяукала кошка.

Она не поняла, сколько просидела. Только сквозь легкий туман сна увидела, что кто-то к ней поднимается по ступенькам. Человек этот был не полностью, только верхняя часть, а ниже всё в тумане. Маша сообразить не успела, как увидела, что ей протягивают ключ от домашнего замка. Было немного страшно, но интересно. Ключ был большой, длинный, желтый, с большими ушками. Взять она его не успела: проснулась от явного голоса:

– Мама, – звала дочь, – мама, ты здесь? – из-за закрытой двери слышалась возня. – Ты подожди, сейчас он заснет, и я открою...

Поздним вечером мать с дочерью пили на кухне чай и молчали. Унизительная сцена оставила след. Рана болела и кровоточила. Виновник безобразия храпел за стеной, ни о чем не сожалел и ни в чем не раскаиваясь. Стыдно, как стыдно...

Зеркало в прихожей, в нем отражается сорокалетняя женщина, всё еще с нежной кожей, яркими глазами, милыми ямочками на щеках. Муж этой милой особы несколько часов назад не пустил её в свой собственный дом. Почему? А просто так... проучил немного. Еще в зеркале отражается часть комнаты большой красивой уютной квартиры. Чего не хватает? Жить бы и жить как людям...

И жизнь катилась по накатанному сценарию. Маша ходила на работу, любила дочь, ухаживала за мужем. После работы приносила сумки с продуктами, готовила всякие вкусности мужу и дочери. Ходила на подработки. Была занята с утра и до вечера. Уставала. Григорий Михайлович честно служил и честно присматривал за своими девочками, а единственная дочка радовалась жизни. Через пять лет очередь из бодрых кавалеров и смущенных поклонников была внушительной. В хвосте этой очереди возвышался Петя. Петр Плахов. Петечка, как назвала его позже Мария Ивановна. Петечка, так стала звать его ненаглядная Елена.

В тот вечер Мария Ивановна была одна дома. Собиралась стряпать вареники к ужину. Бормотало радио, капало из крана, постукивал поднимающийся лифт, слышались шумы и шорохи большого дома. Поглядывая на часы, она поджидала дочь. Раздался звонок. На пороге стоял высокий молодой темноволосый юноша с породистым лицом и крупными руками.

– Здравствуйте, я к Елене, – сказал он спокойно и выжидательно уставился на Марию Ивановну.

– Она скоро подойдет. Будете ждать? Проходите, – кивнула Мария Ивановна после небольшой паузы.

– Буду, – и шагнул в дом. Вот так одним шагом, р-раз, и оказался в их семье.

Разговор состоялся сразу. Оба были интересны друг другу. Мария Ивановна стояла к нему вполоборота и всё пыталась придержать концы нового фартука, крепко завязать которые не получалось.

– Давайте помогу! – Петр встал, воздвигся над женщиной, очень аккуратно, не торопясь, поймал шелковые ленточки нарядного передника и соорудил крепкий бантик.

Конечно, ей помогали по дому и Гриша, и Леночка, но от этого нового человека шла мощная энергия основательности, бесконечной доброты и созидательной силы. Бантик сделал-таки свое дело. С этой минуты между Петром и Марией Ивановной образовалась связь родных по духу людей, очень доверительная. Разговоры между ними сами собой были долгими и приятными, но то, что не договаривалось или не укладывалось в обычные фразы, ими обоими додумывалось и понималось, как могло быть понято только очень близкими людьми, испытывающими друг к другу большое доверие. Леночка так и не поняла, почему мать выбрала Петра из целой коллекции женихов. Для нее, для красавицы и умницы, любительницы комфорта и тепла, его было много... Слишком высок, слишком силен, слишком умен, слишком ярк. Немного старше, он казался намного старше её. За все свои дела и поступки он отвечал со всей ответственностью за себя, а заодно за ближнее свое окружение. Женщины его любили, а мужчины уважали. По субботам-воскресеньям, подхватив Елену, мчались куда-нибудь: в театр, кино, на выставку. В гости... Он точно знал, когда нужно явиться и когда вовремя вежливо удалиться.

Леночка с удивлением жаловалась матери:

– Я его спрашиваю, почему приходим с большим опозданием, а он: чего там сидеть, мы же не ужинать идем. А почему бы и не поесть? Также и уходим: р-раз... хватает меня за руку: Елена, нам пора домой. Веселье, танцы в самом разгаре, а мы уходим. Ты знаешь, мам, он ведь меня совсем не ревнует, ну разве что чуть-чуть.

Сама себя Елена не считала красавицей. Разве что свою безупречную фигуру и длинные, античной красоты и стройности ноги. Вглядывалась с удовольствием в отражение, проходя мимо любой стеклянной поверхности. Медные вьющиеся волосы считала неприличными, немодными. Мечтала о прямой и ровной прическе. Открытые темно-медового оттенка глаза всё время придиричиво щурила. Ресницы, и без того густые и длинные, при каждой свободной минуте подкрашивала тушью, предварительно поплевав в коробочку с надписью «Ленинград». Пухлые губы, вытянув бубликом, тщательно подкрашивала перед каждым выходом за дверь. Что и говорить, внешность у девушки не удалась!

В часы нежности и близости Леночка с грустью отмечала: для мужчины Петр слишком красив. Разглядывая его, вздыхала: слишком много красок – яркие губы, как у кокетки, густые брови вразлет, как у индийской царевны, длинные стрелчатые ресницы больших темных глаз, как... Когда глаза становились совсем темными, а голос резким, Леночка терялась. Ей хотелось домой, к маме. Как к нему относиться, Елена не знала. Она не чувствовала себя влюбленной, но хотелось и видеть, и слышать, как ни странно, только его одного. Она позволяла собой управлять, опекать и даже влиять на себя. Делала это снисходительно и великодушно, дабы не нарушать свое комфортное существование. Да и маме он очень нравился. Вот только с папой всё было сложно.

Григорий Михайлович грозно и громко объявил, чтобы ноги этого нищего студента не было в их доме, как будто сокурсники её были сплошь отпрысками богатых фамилий.

– Это понятно? – рычал он. – Я больше повторять не буду! Елена, делай выводы! Да и ты, мать, поосторожнее с ним! А то развела тут... чай с конфетами всякие! Тоже мне жених нашелся! – буйствовал отец. – Муж должен быть... военным! Офицер! Вот это я понимаю – муж!

Девочки всё поняли и сделали выводы. Друзья однокурсники по институту испарились волшебным образом. А Петя приходил, садился на «свое» место на кухне, когда отца не было и быть не могло дома или в ближайших его окрестностях в ближайших его временных отрезках. И лились разговоры!

Сколько Петр помнил себя в детстве, а потом и в подростках, он был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин. К тому же не было гвоздя или крючка, за который бы он не зацепился. Его мать, одинокая и унылая Раиса, штопала своими короткопалыми руками одежду единственного сына и вздыхала... Петя всегда был одет хуже других. Да они и не видели друг друга. Мать работала чертежницей в конструкторском бюро на свинцово-цинковом комбинате с утра и до вечера. Приходя домой, переделав необременительную домашнюю работу, садилась за стол и замирала, подперев голову рукой в безучастном безмолвии. Тогда они еще жили в Казахстане, в небольшом промышленном городе Усть-Каменогорске. Туда часто приходили письма отца Пети. На вопросы об отце Раиса только вздыхала да роняла скупые слезы.

Это уже после смерти матери, по просьбе отца, у которого была своя семья, Петр с бабушкой переехали в Новосибирск. Отца он стал видеть чаще. И жить стало легче, отец хорошо помогал, но в основном в Петиней жизни ничего не изменилось: бабушка оставалась единственным близким человеком. В свою семью отец сына не пригласил ни разу, да Петр и не просился. Ивана, отца Пети, свекровь не обсуждала, ни на что не жаловалась, ни на что не претендовала, радовалась, что тот во всем им помогает с Петей в новой новосибирской жизни. Про бабушку Петя мог рассказывать часами, гордясь и любясь ею. Высокая, прямая – красивый профиль с высокой прической, – держала спину как королева и ходила по-королевски. Внук – длинная, худая верста сзади, но всегда рядом. Мария Александровна была потрясающим оптимистом. Петр так и не понял, как у такой матери могла получиться такая вечно унылая, безынертная, рано ушедшая из жизни дочь Раиса.

В однокомнатной квартире в Новосибирске, которую удалось хитроумным бабушкиным способом поменять с доплатой на двухкомнатную в Усть-Каменогорске по улице Декабристов, с тремя окнами и невысоким потолком, водилось множество книг, звучала классическая музыка, пахло растворимым кофе и настоящими духами. Быт и всё, что за этим стоит, делили поровну. Убирал дом Петр сам: подметал, мыл полы, выбивал единственный ковер, мыл окна. Магазины брали по очереди: кто был свободней. Готовила Мария Александровна только сама и комплексно, никаких перекусов на стороне. Бабушку внук берег, как берегут последнее, что есть, она же видела в нем мужчину той породы, какая ей всегда нравилась. Самостоятельный, без показухи, уверенный в себе настолько, насколько хватает мужества, и сильный, физически, прежде всего. За те десять вместе прожитых лет Петя многому научился у нее, в первую очередь науке выживать при любых обстоятельствах. С отцом дружбы не получилось, несмотря на все старания Марии Александровны. Петр не знал, как общаться с человеком, который всё время оправдывался: за свою нескладную жизнь, за Раисину несложившуюся, за Петину полусиротскую и так далее.

Учился Петр легко, как бы между прочим, между делом. Всё время подрабатывал. Всё время что-то кому-то чинил, починял и не стеснялся за это брать деньги. Мария Александровна по приезду в Новосибирск наскоро набрала учеников, и занятия по русскому языку шли по расписанию. Так они и жили: бабуш-

кина пенсия плюс репетиторские, отцовские подношения, Петины копеечки – не густо, но не бедно. Вечерами много читали, каждый в своем углу. Редко смотрели телевизор. Еще реже ходили в театр. Зато всегда были гости. Бабушкины ученики – зимой, летом толкались Петины друзья, по вечерам заглядывали соседи и новоявленные бабушкины подружки. Несмотря на все старания Марии Александровны, гуманитарные науки Петра не интересовали. Поддержать разговор, вставить нужное словцо, блеснуть знаниями – это всё было... Но глаза загорались при одном упоминании новой техники: брошюры, журналы, чертежи растрепанной стопкой громоздились в Петинем углу за ширмой. Легко и бодро поступил в НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт. Тогда появились первые компьютеры. Петр, обо всем забыв, пропал где-то, притаскивая домой замысловатые сооружения под названием «личный пользователь».

В двадцать лет Петр остался один. Мария Александровна в один из осенних вечеров присела в свое любимое кресло со словами:

– Что-то мне нехорошо, Петруша! – и мягко завалилась на бок на глазах у растерявшегося внука.

После похорон Петр перевелся на вечернее отделение и пошел искать работу. С этим-то как раз и не было проблем. Благодаря доброму характеру, умелым рукам и бабушкиным ученикам Петр быстро устроился. Вначале это был кооператив, потом что-то вроде маленькой конторы по наладке компьютеров, ну а потом он сам выбирал, с кем и как работать. К моменту знакомства с Еленой Петр уверенно работал специалистом в многопрофильной компании.

Дружба Марии Ивановны и Петра состояла в беседах. Беседы были долгие и подробные, обо всем. Брак Леночки и Пети был иного характера. Была Леночка не только красавицей, но и умницей. Умение слушать, при всей своей пленительной нежной красоте, было у нее от матери, а еще, надо полагать, от бабки Ираиды. Елена была частым молчаливым слушателем, внимательным и искренним. Вечерами, если они оставались дома, Леночка, в коротком халатике, устроив свои гладкие ноги на диване, смотрела на мужа, разглядывая, если он был занят, или слушая его, если ему хотелось поговорить. Зачастую она напоминала Петру ленивую домашнюю кошку, а кошек он любил. Петр не обижал её за долгие молчаливые разглядывания, за вопросы, замечания, реплики, если были не к месту. Он был ей благодарен за это умение молчать. Было в этом очень ценное, глубокое, уютное, материнское, что ли. Но он этого не знал, скорее, догадывался и воспринимал Елену как знак, посланный бабушкой – Марией Александровной.

Елена не подозревала о столь ценном своем предназначении в Петиней жизни. Вела себя, ни о чем глубоко не задумываясь и не раздумывая. Разве что о себе, о своем комфортном расположении: с одной стороны – мамочка со своей заботой и безграничной преданностью, с другой – Петр, муж, со всей своей врожденной ответственностью. Радовало Петра и наличие такой тещи. Вот уж где заканчивалось его добротное молчание. Его как будто меняли. Ему было безумно с ней интересно. Откуда такое отношение, Петр и сам не знал, да и не задумывался. Главное, Леночка не ревновала и не беспокоилась таким разным отношениям: к ней и к теще. С Григорием Михайловичем Петр был сдержан. В жизнь свою допускал редко и скупое. Был подчеркнута вежлив и терпим.

Первые пять лет брака молодые жили в Петиней квартире. Так сказать, самостоятельно. Если не считать без конца снующую туда Марию. Всему учила и помогала. Молодые жили в свое удовольствие. Леночка оканчивала свой экономический институт, потом долго решала, куда устроиться со своим красным дипломом. Петр же много работал. При этом всюду ездили, по стране и за гра-

ницу, набирались впечатлений от новой жизни. В начале нового тысячелетия, набравшись опыта и завязав множество знакомств и связей, Петр заявил о своем бизнесе. Елена была не против. К слову сказать, Мария удивилась дочери. Леночка как будто проснулась. Откуда-то появились деловитость, собранность, удивительное чутье и хватка. Прошли мечтательность и безмятежность. Петр только улыбался, поглядывая на жену. Внучка, только-только родившаяся к тому моменту, названная Петром в честь своей прекрасной Елены, была по согласию обеих сторон полностью на бабушке.

– Ну, бизнес так бизнес! Работайте, наше дело помогать, – только и ответила теща.

– Какой такой бизнес? Ты что, мать, рехнулась? Бандиты кругом! – отец рвал и метал. Но, покричав для порядка, уехал на свою дачу.

Жили по-разному: Мария Ивановна с маленькой Леночкой наслаждались своей неторопливой жизнью, родители жили в борьбе за новую, а Григорий Михайлович воевал сам с собой и со своим недовольством новым строем на грядках своих дачных соток. В один из августовских вечеров, вернувшись со своей делянки и отпустив няню, Григорий пожаловался пятилетней внучке на плохое самочувствие и, разложив диван в большой комнате, позвал её посидеть с ним.

– Плохо мне, Леночка, что-то не так со мной, – говорил, тихо складывая слова, дед, еле двигая небритым кадыком.

– Ты что, дедушка, пьяный? – девочка удивленно поднимала кукольные бровки.

– Нет, умираю, наверно, вот здесь печет, – и прикладывал свою корявую ладонь на грудь. – Ты вот что, ничего не бойся, сиди тихо и жди бабушку, до её прихода я точно не умру.

Помолчав немного, добавил:

– Бабушка у тебя самая-самая...

Так она и просидела какое-то время. Сидела честно и добросовестно, потому как боялась деда больше всего на свете. Придя домой, Мария Ивановна застала мирную картину: мертвый муж с открытым ртом и закотившимися глазами и смиренно сидящая внучка с куклой на коленях. С трудом сохранив самообладание, увела девочку к соседям, вызвала скорую, дочь с зятем, завешала зеркала и только потом дала волю слезам и горю.

Хоронили Григория Михайловича с военным оркестром и оружейным салютом. Похоронив и отведя положенные поминки, молодые переехали к матери в старую квартиру, сдав свою однокомнатную квартирантам, и жизнь покатилась по-новому укладу без Григория. В том же году умерла и Ираида. Умерла одна в своей чистенькой светлой терраске. У нового больничного начальства, пришедшего на смену Седого, не поднялась рука выселить старейшего сотрудника. К дочери за все эти годы она так ни разу и не собралась. Маша, приезжая к матери, каждый раз заводила разговор о её, материном, переезде к ней, единственной дочери, но та разговоры не поддерживала. Безумно радовалась недолгому визиту двух горячо любимых девочек, про зятя расспрашивала вскользь. Дочь только догадывалась о причинах нежелания не только переехать, но и погостить, потому как умная Ираида отмалчивалась да разговоры не поддерживала... Позже, когда Леночка перестала ездить с матерью к бабушке по причине взросления, Мария последний раз завела разговор с матерью. Ираида помолчала, а потом сказала коротко:

– Хитрец он у тебя, всё у него есть: родина, жена, дочь, дом.

Помолчав, добавила:

– Разные мы с ним. Жить не сможем под одной крышей. Ты себя всю жизнь уговариваешь, а со мной не стоит этого делать.

Маша поняла только малое: мать при всем уважении высказалась о своем отношении к Григорию. И мнение это было неоднозначным.

После похорон Мария раздала нехитрый гардероб Ираиды, собрала документы, свои же письма, медный материн нательный крестик, откуда-то взявшийся серебряный крест средних размеров, завернутый в темную старую тряпицу, кое-что по мелочи на память и, сдав жилое помещение вместе с мебелью сестре-хозяйке больнички, навсегда покинула Казань.

Как-то вечером, еще при жизни Григория Михайловича, старушке Штольц стало плохо, и Роберт Юльевич отважился позвонить Марии. Извинялся, мямлил, пока, вконец расстроившись, не объявил, что им с матушкой без Маши не обойтись. Через тридцать минут Мария была на месте. Сделала нужный укол, смирив давление, дала чаю, снова измерила давление. Старушка уснула. Маша приготовилась к бессонной ночи. Взяла очки, вязание и тихо зашуршала спицами. Роберт пригласил её к вечернему чаю с вареньем, и не на кухню, а в большую комнату. Войдя и увидев на торце шкафа небольшую икону Казанской Божьей Матери, потаенно и кротко перекрестилась да тихо вздохнула: «О Господи!» Как понял он после её ухода, именно этот её молитвенный вздох и тронул его и более притянул неловкого Штольца к этой миловидной, приятной во всех отношениях женщине. Покой, чистота и удивительная понятность таились в ней. Маша ходила на свидания к старушке Штольц по расписанию. Всё закончилось быстро – через пару месяцев. Зайдя утром в комнату матери, Роберт Юльевич обнаружил матушку уже холодной, легко умершей во сне. Проводив в последний путь и оплакав мать, Роберт крепко задумался о своей одинокой жизни. Работа радовала, друзья, знакомые, и соседи не докучали. Но жить одному, а главное... без нее, он теперь не знал как.

Марии тоже нравился «этот немец», как она его про себя окрестила. Своей сдержанностью, лаконичностью слов и движений и всем своим поведением, которое хотя и было малость «деревянным», зато вполне истинно мужским, как ей казалось, без показухи. К своему удивлению, в его присутствии на нее накатывала беспричинная радость. Ей хотелось много говорить, нравиться ему, кокетничать... Мария даже гардероб свой окинула строгим взглядом. К одобрению дочери, волосы подкрасила и помаду купила ярче. Они не виделись, но звонили друг другу, больше из вежливости, и, не находя предлога, не назначали встреч. Но тяга к общению искала повода. Повод еще не находился из-за наличия «её мужа». Так Роберт Юльевич окрестил Григория Михайловича, ни разу его не видев. А Мария Ивановна только тихонько вздыхала и украдкой улыбалась наедине, вспоминая Робертovu неловкость, ей была приятна эта неловкость. Так прошло много времени и случилось много событий, пока повод всё-таки нашелся.

Зима в тот год уже была на исходе. В конце марта Мария Ивановна вознамерилась съездить на любимую Гришину дачу, которая уже больше года стояла без присмотра по причине смерти хозяина. Одной ей ехать было неудобно, да и без мужских рук что там делать. Она после долгих раздумий, мучений и большой неловкости набрала телефон Роберта Юльевича. И Роберт тотчас вызвался её сопровождать. Встретились у касс автобусной станции. Он взял из её рук сумку с заготовленными бутербродами и термосом, сели в пустой рейсовый дачный автобус и, едва обменявшись словами и улыбнувшись друг другу, поехали. Мария ехала и думала о своем, а Роберт радовался её сосредоточенному молчанию, потому как сам был неговорлив, да и говорить было почти не о чем: общей жизни не было.

От встречи к встрече постепенно возникала между ними и тема для общения – хозяйственно-строительные заботы дачки. Сначала Мария Ивановна ре-

шила продать её. Но дети отговорили, да и Леночке, и второму родившемуся внуку нужны витамины. Роберт Юльевич поддержал. Советы его были умными, дельными. На дачу теперь ездили каждую неделю втроем. Добирались то автобусом, то на машине Роберта. В нем она открывала всё новые достоинства, невольно сравнивая с покойным Гришей, но скисала от его некой холодности, нерешительности. Сама же Мария была собой недовольна: что за глупости на старости лет?! «О душе подумать надо, а я любовь какую-то придумала!» – думала она голосом покойного мужа.

Роберт понимал, что присматривание затягивается, и безмерно по этому поводу нервничал. И, наконец, пригласил её в ресторан. В стилизованный под широкую русскую избу, в тихом живописном уголке ухоженного парка. Вечер был чудесным и имел продолжение. Встречи стали регулярными. Леночка-старшая начала было возмущаться, но Петр, твердо подхватив жену под руку, увел её в спальню. Некоторое время из-за плотно закрытой двери раздавался только его голос.

Мария Ивановна приходила к Роберту вечерами, два раза в неделю. Обязательно ужинали. Вернее, он её кормил, ухаживал, развлекал. А потом ложились спать. Ощущение тяжести мужского тела рядом было приятно во всех отношениях. Вдовство – дело кроткое, смиренное, говорила покойная Ираида, и Маша искренне радовалась, что оно закончилось. Вечера были разные. В основном минорные – наполненные тихой музыкой магнитофона, пением под аккомпанемент старенькой мандолины или просто приятным молчанием. А если шумные, то под пение и хорошее вино, случались и анекдоты, все сплошь интеллигентно-соленые.

Родственные поездки на дачу с ненаглядной Леночкой-младшей, знакомство с соседями, далее и дачная дружба соседом генералом в отставке, прогулки по парку, поездка за город к приятелям Роберта на лечение старого дачного рояля. Всё было счастливо, просто чудесно. Вот только ключ от квартиры Штольца был один. Утром, провожая Марию, Роберт Юльевич всегда терпеливо дожидался, пока она соберется, и замыкал замок поворотом ключа. Ключ издавал противный щелкающий звук. От этого звука у Маши всё внутри холодело. «Значит, и здесь не соответствую, не вызываю, так сказать доверия, – думалось ей. – И здесь я... для удобства? Неужели всё повторяется? Опять терпеть?!» Один раз даже стало дурно. Еле до дома дошла.

– Что с тобой, мама? На тебе лица нет! – испуганно спрашивала дочь.

– Что с Вами, мама? Он Вас обидел? – закипал зять.

– Что с тобой, бабушка? – удивленно распахивала кукольные глазки внучка.

«Что со мной? Дался мне этот ключ? И действительно... – думала Мария Ивановна. – Уговаривать себя?!» Это была последняя капля в её долготерпении. Больше на свидания она не ходила.

Несмотря на свой скромный внешний вид: невысок, лысоват, с небольшим возрастным животиком, Роберт Юльевич имел много друзей. Малообщительный, он был умелым слушателем, активным, так сказать, при этом всё его лицо выражало интерес и большое внимание к говорящему человеку. Но при этом глаза пытливые, внимательные, нос прямой, губы ровные. Когда садился за инструмент, напоминал большую серьезную птицу на ветке... Было в настройщике какое-то особое достоинство. Идя по коридорам музыкальных заведений, неторопливо отвечал на приветствия. Приходя по приглашению к охрипшему инструменту, весь внутренне собирался, словно перед встречей с важной особой. Расправлял плечи, спина становилась ровной. Снимал строгий элегантный пиджак сшитого на заказ костюма и закатывал рукава белейшей

рубашки. Слегка оттягивал узел галстука, если положение было серьезным и требовалось усилие или сверхнужное внимание. В минуту весь превращался в одно большое ухо. Все домочадцы за дверями комнаты ходили на цыпочках и говорили шепотом. Всё говорило об особом отношении окружавших людей к нему. Друзья любили его за несуетную способность всегда приходиться на помощь, за внимательные беседы за бокалом хорошего вина, бутылочка которого всегда имелась у него в запасе. Но иногда, время от времени, тянуло от Роберта Юльевича холодком: односложность в беседе, вдруг возникшая рассеянность или просто исчезновение из поля зрения дружеских встреч. Тогда вспоминали о его происхождении, связывая почему-то данное поведение с чисто национальной особенностью, и прощали возникшую прохладность очень быстро.

Зато женщины его очень любили. И он имел большой грех сильно любить их... Привлекали его женщины не только внешней яркостью, но грудным смехом, вдруг раздавшимся из дальнего конца комнаты на очередном чьем-либо семейном празднике. Или красотой изящных кистей рук обладательницы соседнего филармонического кресла. Или высоким изгибом прелестной шеи незнакомки по театральной ложе. И весь он проявлялся возле данной особы – опять же молча, но с повышенным интересом. Дамы сами собой тянулись к нему. Старались во всем ему нравиться. Самое интересное, что молчуном или букой его никто не называл, а наоборот, молчание его было красноречивым. Ухаживал он красиво, интеллигентно, сдержанно, как бы наслаждаясь всем этим процессом. Барышни оценивали это его качество, считая высшей степенью по-мужски не трепать языком, а немногословно наслаждаться их женским присутствием в его одинокой, как им казалось, мужской жизни. Бывало, вступал в интимно-постельные продолжительные отношения с разведенками. Но это было нечасто. По правде сказать, каждую женщину, попадавшуюся в поле его очарования, он рассматривал как понравившийся музыкальный инструмент. И к ней и только к ней тянулись его внимание и руки. Хотел настроить, утончить, поправить, огладить этот женско-музыкальный организм. И как только дуэт состоялся в качестве друга, любовника, поклонника, полюбовавшись своей, так сказать, гармоничной «настройкой», красиво раскланывался. У женщин никогда не было к нему претензий. Расставшись, еще какое-то время оставались друзьями. Это была его эстетическая сторона жизни. К серьезным отношениям это не имело никакого отношения.

Беседа с Марией удивила, потрясла и изменила Роберта Юльевича. Большая гармония и понятность были в этой женщине. Несмотря на внешнюю упорядоченность и спокойствие, уверенность и интеллигентную доброжелательность сидела в Роберте грызущая обида, еще с малолетства. Он жестоко страдал от несправедливости, случившейся с его семьей. Из долгого разговора выяснилось, что всё неправильное вдруг соединялось в ней с прекрасной простотой и всё непонятное становилось понятно и ясно как белый день. Представление о неправильности жизни носил Роберт в себе с малых лет, а у Маши все разности уживались – и правильное представление, и неправильные реалии. Она и губы ярко красила, и улыбалась ему чрезмерно, и мужа вспоминала с почтением, и молодежь поругивала. Так ему казалось и хотелось в это верить, так оно и было на самом деле. Казалось, теперь не он настройщик, а она настраивала его глубокий запрятанный внутренний мир на нужное правильное звучание.

Родители его встретились и поженились в Ленинграде в далекие годы. Как они жили до этой судьбоносной встречи, ни Роберт, ни его младший брат не знали и не интересовались. Будучи волжскими немцами по происхождению, подверглись они репрессиям и гонению со стороны советской власти. Страшное клеймо «фашист» давило на него с самого детства. Он войны и не помнил. Отец –

Юлий Францевич, тишайший человек, преподаватель университета, далекий от политики профессор геологических наук, ни сном ни духом не ведал, что будет распят советской властью только за принадлежность к старинному немецкому роду, служившему верой и правдой еще Великой Екатерине. Был крайне удивлен и растерян, когда ему предъявили статью «шпионаж и вредительство...».

Пережив страшные годы лагерей, отсидев положенный многолетний срок, вернувшись и найдя свою семью, высланную к тому времени в Джезказганскую область, отец Роберта так и не смог оправиться, тихо скончался там же, в Казахстане. Матушка же, благодаря своему чудному характеру, проявила чудеса стойкости и выносливости ко всякому роду унижений, а мальчики сильно страдали. Перебравшись в Новосибирск после смерти мужа, мать подняла двоих детей не без помощи друзей по тайному православному обществу. Она и не скрывала, что была верующей. В церковь, правда, не ходила, дабы не давать повода к лишним разговорам и действиям со стороны бдящих органов, но молитвы читала, посты соблюдала. Приобщен был к Богу и старший сын. Младший, рано переехав в Ленинград, жил своей жизнью, хотя скучал и звал в гости.

Основное внутреннее разногласие было основано на матушкиных разговорах. Был он маминым сыном. Внимательно слушал её речи о большой вере к Богу и про большую несправедливость советской власти и никак не мог оправдать ни того, ни другого. После пятьдесят третьего года разговоры эти прекратились. Все вокруг, и матушка в том числе, как будто забыли про свои обиды. Но Робертовы мучения не прошли. Став взрослым уверенным человеком, вдруг обнаружил, что они вдруг дали всходы. Конфликт между собой, правильным Богом и неправильной жизнью достигал ежегодно критической точки, в основном к празднику 9 Мая. Пока все трудящиеся сливались в единые энергичные праздничные колонны, Роберт Юльевич покупал себе две бутылки водки и батон белого хлеба. Раздевшись до майки и трусов, отключал телефон и, закрыв плотно дверь на кухне, уходил в тихий недолгий запой. Как положено, со слезами-соплями, тихим матом и вопросами без ответов. Единственным свидетелем такого нравственного падения была родительница. Она же была его бессменным собеседником и слушателем. Монолог велся исключительно на немецком языке. Мать, выпив грамм водки за праздник, начинала рукодельничать, молча кивая или немногословно поддакивая. Судя по всему, старушка к таким выпадам в их жизни относилась с пониманием. Не ворчала, не докучала спорами, а послушно высиживала свои часы возле сына на кухонном жестком табурете, занимая себя и выслушивая страдальца.

Так продолжалось до встречи с Машей. Женщин в жизни Роберта Юльевича, как сказано, было много. Кого-то только провожал до дома, кого-то даже знакомил с матерью. Но для всех он был активным слушателем, восхищенным угодником, талантливым любовником, приятным человеком и удобным во всех вопросах мастеровым, но никто, ни на минуту, не разрешал его монолог и внутреннюю напряженность. С ней же он вдруг открылся, мало того что он позволил себе проговорить целый вечер, и речь его была непринужденной, душевной и искренней, Мария к тому же очень нравилась матушке, чего не случилось с первой супругой Роберта. Всё это его скорее озадачивало, нежели радовало. Он понял, что встретил ту, что составляла его вторую половину. А как же уже полюбившаяся свобода? Образ милого и образцового ухажера, жениха без обязательств, свободного гастролера...

Через год после смерти Григория Михайловича Елена родила второго ребенка. Молодые родители внесли младенца в дом и кинулись разглядывать. Ребенок был похож на маленького ежика. Не по жестким волосам – волосы

как раз были нежными, как пушок, а по забавной повадке шумно и любопытно принюхиваться своим младенческим носиком перед кормлением. Петр был в восторге.

Елена удивлялась:

– Петя, ты же дважды отец!

– Ну, знаешь, такую маленькую Леночку я не помню. Да и к тому же Гришка такой забавный, на ежика похож.

Елена закатывала глаза, а Мария Ивановна прятала улыбку. «Повзрослел отец наш, – ласково подумала она. – Вот уже и сесть начал, кормилец», – и погладила по плечу своего любимого зятя. Зять, откликнувшись на ласку, широко улыбался.

Внука назвали Григорием. Но кроме имени от деда ребенок ничего не взял. Был он легкого, веселого характера. Игрун, шалун и безобразник. Как только встал на ноги и побежал, в доме всё перевернулось с ног на голову. Терялись мелкие вещи, ломались и откручивались запоры ящиков и шкафов. Ключи, пульты – всё пряталось в такие тайные места, что вся семья искала сутками, а то и неделями. Книжки с картинками, раскрасками, карандаши и фломастеры использовались так рьяно и исследовательски, что следы столь активного познания мира можно было обнаружить на всех стенах и дверцах всех шкафов без исключения. Он постоянно улыбался, что вводило Елену в оторопь.

– Мама, почему он постоянно улыбается? – вздыхала она.

– У него хороший характер, – отвечала бабушка, ползая с тряпкой и замыывая следы художественного проявления веселого характера внука.

– Мама, может, его психиатру показать?

– Бог с тобой, дочь! Что ты такое говоришь? – пугалась Мария Ивановна.

Зато Петр обожал малолетнего нарушителя спокойствия. Леночка, беспорочно, была старшей любимицей, и это был редкий ребенок. Несмотря на юный возраст, внучка обладала выраженным характером, хорошей организацией и... примерным поведением, когда, по её юному уразумению, это было логично. В дуэте с матерью и бабушкой ведущей была Леночка, с отцом – разумеется, глава семейства. Подростивший брат сломал весь образ жизни семьи, все правила, а главное, покой. К пяти годам он стал главным действующим лицом в доме. Беготня, крик, смех, шум. Уложить вовремя спать – проблема. Затащить перед сном в ванну – поиски и погоня по всей квартире, а затем долгие уговоры. Кормление: бабушка и мама – главные действующие лица. У Елены появились раздражительные нотки в голосе, иногда даже переходила на крик, похожий, скорее, на визг. А мальчугану весело. Он снова бежит, его не поймать, не найти на просторах большой квартиры. Отец и бабушка весело хлопотали вокруг него. Сестрица прятала игрушки и книжки, строго стояла на охране порядка в детской комнате. О спокойной, размеренной жизни до появления младшего члена семьи никто уже и не вспоминал. Иногда, когда терпение старшей сестры иссякало и её малых женских сил не хватало оплакивать очередное разоренное кукольно-семейное гнездо, Леночка кричала:

– Лучше бы собаку или кошку купили, чем этого Гришку! Зачем вы его завели?

Мария Ивановна хваталась за сердце, Елена менялась в лице, а Петр тихо давился смехом, накрывшись газетой.

Размолвка с Робертом Юльевичем затянулась. Нет, он не отказался от Маши, но и ничего не менялось. Он также звонил – они говорили по телефону, иногда даже подолгу. Приходил на семейные праздники, они веселились. Участвовал в домашних семейных ремонтах. Но... этот ключ! Она про него изредка вспоминала, и у нее леденело в груди.

– Бабушка, скажи, почему вы с Робертом не поженились? – в редкие минуты затишья Гришка проявлял редкую заинтересованность.

– Так не берет!

– А ты выйди на улицу и крикни: «Ты меня любишь?» А потом прогуляйтесь с ним, потанцуйте, – пауза напряженной мыслительной деятельности, – ...постройте дом. Потом сядете в карету и поженитесь! И вам всегда будет весело.

Мария чуть не плакала от счастья. Понимала, что и маленький внук по-своему переживал. Но сама не делилась и домашним не давала повода обсуждать их с Робертом размолвку. Нет! Нет! Не хочу! Не надо! Ничего не надо!

Вечерами, укладываясь спать, Гриша ладошками ловил её лицо и вглядывался в глаза:

– Почему ты плачешь?

– Я не плачу. Это у меня глазки устали смотреть, как ты быстро растешь, – честно отвечает она.

– Я не буду вырастать! Останусь маленьким, – обещает добрый внук.

– Почему?

– А то я вырасту, а ты станешь старой. Я не хочу, чтобы ты от старости плакала... – он внимательно смотрит на нее.

– Я больше не буду плакать, Гришенька! – счастливо роняет слезы Мария Ивановна.

Дети росли, и отношения между ними накалялись день ото дня.

– Гришка, я тебе говорю, фломастеры надо закрывать, а то засохнут! – ползая на коленках по всей комнате и собирая разбросанные братом фломастеры, громко наставляет Леночка. Затем наступает пауза, и тихо, почти про себя: – Тогда жизнь у них будет бессмысленная, как у меня! – она вдруг начинает громко рыдать, театрально заламывая руки и старательно размазывая слезы.

В тот вечер скандал разразился перед самым приходом бабушки. Елена, редкий случай, была дома, отпустив няню, занималась детьми и хозяйством. И, надо сказать, не очень удачно. Крики и шум Мария Ивановна слышала еще на лестничной площадке. Вдохнув, как перед прыжком, распахнула дверь... В прихожей, весь красный и потный, в шапке, замотанный шарфом, в одном ботинке стоял Гришка. Где-то в глубинах квартиры стоял ор двух Елен. Мать и дочь что-то доказывали друг другу. Причем дочь требовала немедленного изгнания брата не только из дома, но и со свету... Мария Ивановна подхватила удивительно послушного внука, прихватив курточку и второй ботинок, тихо прикрыла за собой дверь:

– Пойдем-ка погуляем, пусть девочки покричат!

На улице вечерело. Было по-осеннему прохладно, несмотря на август. Держа внука за руку, она чувствовала, как его трясло от волнения. Дошли до угла, постояли, посчитали ворон на соседней помойке, снова вернулись во двор. Сил не было идти далеко. Опять дошли до угла, прочитали все вывески.

– Тебя твоя мама любила? – закончив читать слово «ма-га-зин», без паузы спросил внук.

– Что? – не поняла Мария Ивановна.

– А меня мама сегодня по попе отшлепала! – констатировал внук.

– Знаешь, за что? – спросила бабушка.

– Не знаю... – он грустно вздохнул, – наверно, потому что любит. Она всегда говорит, что любит меня. Уж лучше бы не любила! А то так больно!

Домой зашли поздно. Наутро, собрав Леночку и всё Леночкино кукольное хозяйство, Мария Ивановна уехала на дачу. Дав тем самым короткую передышку всем, а главное, внучке перед началом шестого учебного года. Дом-дача

встретил их тихо, как будто вспоминая, кто это. Открыв единственным ключом старую дверь, оказались на терраске, построенной благословенными руками Роберта Юльевича. Всё, всё напоминало о нем. Даже забытый чехол от его любимой мандолины.

Между тем Леночка, сняв свои новомодные джинсы и кофточку в блестках, почему-то надел старое материно платье и подвязав в талии блеклым платком, ходила с веником и звала делать большую уборку, как и положено возвращенцам. Девочки, большая и малая, нагрели воды в двух ведрах, разобрали тряпки и развернули генеральную уборку. Они сновали из комнат на улицу, что-то хлопая и выбивая, шумели ведрами и тазами, торопясь до наступления темноты. Пошел дождь. Похолодало. Леночка, натянув поверх платья растянутую материну кофту, стала еще больше похожа на Елену-старшую. Ей шел двенадцатый год. Они пели старые песни про «Кота» и про «Зайцев». Внучка слышала их с детства от матери и бабушки в дни больших уборок и стирок. Они негромко пели, смеялись, заставляя соседей выглядывать и прислушиваться:

– Мария с внучкой вернулись!

Всё в этом старом доме напоминало о нем, особенно запах деревянного пола, когда-то бережно по-хозяйски подогнанного Робертом половица к половице. Тлеющая под чехлом старая садовая мебель скрипела, вспоминая его визиты и совместные чаепития. Старая бочка для полива с изумрудными мшистыми боками и первыми опавшими листьями на поверхности темного зеркала воды требовала срочного дельного хозяйствования.

«Господи, зачем я приехала! Теперь все мысли о нем», – горько думала она, едва поспевая за своей деятельной внучкой. К темноте всё успели. Еще и переключку с соседями устроили на сон грядущий.

– Бабуля, смотри, что я нашла!

В перепачканных руках девочки в потемках угасающего вечера в промасленной жесткой бумаге поблескивали два тяжелых ключа от дачной двери.

– Где ты это нашла? – воскликнула Мария.

– Там, – неопределенно кивнула остреньким подбородком Леночка.

Опять этот ключ! Она медленно осела на ступеньку крыльца. Под ложечкой неприятно засосало.

– Принеси-ка мне воды, Леночка, – попросила она.

– Ты зря так расстраиваешься, – Леночка в свойственной ей назидательной манере поучала бабушку. – У тебя теперь есть свой ключ от дачки, у меня будет свой, вот только третий кому? Ну не Гришке же отдавать? – начала переживать сестрица.

– А можно мне? – и тут, как в кино не для слабонервных, из темноты вышагнул Роберт Юльевич. В дождевике, в высоких сапогах и с большой сумкой. Шагнул, стряхнув с куста сирени остатки дождя, заставив девочек вздрогнуть и подобраться.

– Как ты здесь? – только и выдохнула Мария.

– Ой, это вы! Вот здорово! – громко обрадовалась Леночка. – А то мы с бабушкой уже грустными стали! А вы к нам насовсем или так... погулять вышли?

Роберт Юльевич присел перед сумкой, явно что-то там проверяя.

– Лена, что такое ты говоришь? – одернула её Мария Ивановна.

– А это как твоя бабушка скажет! – он резко встал, снял плащ, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и заговорил.

Говорил он неторопливо, волнуясь, то старательно заглядывая ей в глаза, то отводя их в сторону. Говорил, что всё за это долгое время передумал, переосмыслил – слова-то какие! Взвесил и решил: вот тебе ключ от моего дома! При-

ходи, когда поймешь... ну, это неважно.... Приходи и будь хозяйкой! Это только твой ключ!

Мария сидела, уставившись на ключи.

«Как в том давнем сне, – думалось ей. – Да, да, всё, как в том сне. Только сколько же лет прошло? Уж не многовато ли для такого счастья? Дело к шестидесяти... возраст не для нового счастья, нет, не для нового, но, верно, для заслуженного. Вот он, венец моему долготерпению, как сказала бы покойная матушка Ираида».

– Ого, бабуля, у тебя теперь три ключа! От трех домов! От дома, от дачки и от... Роберта!

Леночка подпрыгивала на месте и крутила головой. На шум тянулись соседи, приветствуя и открывая калитку...

На третий день серьезный Петр привез Гришу на дачу. Мария и Роберт радужно приняли внука. Зять сначала удивился, а потом обрадовался, увидев Штольца. Шепнул матери, что у них с Еленой образовалась срочная командировка за границу дней на пять, что будут звонить на мобильный телефон каждый день. Кивнув и крепко пожав руку Роберту с надеждой видеть его чаще, быстро исчез на своем внедорожнике.

– Гришка, смотри, что у меня есть! Это кот и зовут его Гриша! Его Роберт принес! – Леночка, жалея себя и свои хлопоты последних дней, отважилась вручить братцу черного котенка. На ходу торопливо рассказывая, что в тот вечер все забыли про него в сумке. Что взрослые ели-пили и играли на ман-до-лине до утра. А утром котенок напугал бабушку своим мяуканьем. И что бабушка даже разрешила взять его домой, в город.

– Сначала Роберта заберем, а потом и кота, а может, сразу всех вместе, – строила планы Леночка.

Вечером усталый от впечатлений внук задумался вслух:

– Вот у тебя есть Роберт, у мамы есть папа, у Ленки есть, – тут он задумался над правильностью своих мыслей, – ...есть я! А у кота нет никого! – изрек юный мыслитель.

– Спи! Еще нам кошки не хватало! – смеялась Мария. Но утром очень удивилась. На веранде сидела крупная полосатая кошка и тщательно вылизывала котенка Гришу.

Вечером под звуки мандолины, всплеск вокальных партий Роберта Юльевича, густой смех соседа генерала, звон посуды, звуки женских разговоров, жужжание ночных мошек никто не услышал трели мобильного телефона, никто... кроме Гриши.

– Алло!

– Гриша! Это папа, как дела? Что делаете?

– Слушаем кошачьи песни, – не моргнув глазом, ответил сын.

– Какие песни? И кто слушает? – отец явно плохо понимал обстановку.

– Мы слушаем кота. Он поет кошке свои песни, – повторил терпеливо Григорий.

– Какой кот? – это уже Елена, взволновано, явно борясь за трубку. – И почему он поет?

– Почему, почему!.. Потому что кошка согласилась его слушать!